

Где мой дом?

Неделя - 1991 - 4-10 марта (№ 10) - с. 14-15.



Наши публикации



Константин БАЛЬМОНТ

Очерк К. Бальмонта «Где мой дом?» в СССР публикуется впервые, по тексту сборника «Где мой дом?». Прага, 1924 г. Явные опечатки исправлены. Офтография и пунктуация приведены в соответствии с современными нормами.

Очерк документально воспроизводит картины вымиравшей от холода и голода Москвы 1920 года и — на этом фоне — судьбы двух крупнейших русских поэтов: самого К. Бальмонта и Марины Цветаевой. С Константином Дмитриевичем Бальмонтом Цветаева подружилась в молодости в Москве. Теплые, сердечные отношения, взаимная поддержка и помощь согревали их в трудные годы революции. «С Бальмонтом мы, — вспоминает Марина Цветаева, — игрой случая чаще делили тяготы, несли радости жизни, — может быть, для того, чтобы превратить их в радость?» (ж. «Воля России», 1925, № 11, с. 44). Дружба поэтов продолжалась и за границей (летом 1920 года Бальмонт уехал в заграничную командировку для литературной работы по заказу Государственного издательства и не вернулся). Об огромном уважении Цветаевой к Бальмонту свидетельствуют ее очерки-воспоминания «Бальмонту» и «Слово о Бальмонте», а также посвященный В. Брюсову очерк «Герой труда», де «рукотворному» творчеству Брюсова она противопоставляет вдохновенную поэзию Бальмонта.

ЭТО БЫЛО в Москве, в 1920 году, в один из тусклых зимних дней. И небо и земля были с утра затянuty всеразлитой дымкой, той странной и жуткой белесоватостью, которая чем-то напоминает жуть белма, лишаящего человеческого глаз нашего лучшего дара — способности видеть.

Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полуоткрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване, в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами — поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию — стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол; на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это — нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, — моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным теплом, спят два близкие мне существа. Моя девочка двенадцати лет¹, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты, и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать², делящая со мною мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегающая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобный. Но, кроме пшена, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготовлено.

Даятельница пшена проснулась и начинает кашлять. Она кашляет долго и с надрывом. У нее чахотка, и доктор говорит, что если я не увезу ее за границу, она к весне умрет. Но на что же и как же уехать за границу? Я слышу в этом кашле какой-то посторонний звук, он кажется мне плачем. Я встаю, подхожу к письменному столу, отпираю один из выдвижных ящиков и вынимаю оттуда квадратный кусочек сахара. «Съешь», — говорю я. Она с жадностью съедает кусок сахара, и кашель прекращается.

Это вчера, проходя по Арбату, я купил за непомерные монеты, у какой-то алчной бабы, три кусочка сахара весьма грязноватого цвета. Я знаю, что кусок сахара лучше всякого лекарства помогает от кашля. Я тайком запер к себе в стол эти три кусочка. Остальные два придутся ей же, когда она, проснувшись, опять будет задыхаться от кашля.

Даятельница пшена, ободрившись, встала, оделась и так как у нее нет ни валенок, ни ботинок, она свои ноги, обутые лишь в тонкие туфельки, с тщанием и с большой находчивостью начинает обертывать в какие-то неправдоподобные обмотки. Я смотрю, и в тусклом свете зимнего утра эта бледная женщина с исхудалым лицом кажется мне лунатическим призраком. Все ее движения — сомнамбулические, и я сказал бы — нелогически прямолинейные. Обмотки на ее ногах вызывают во мне чувство необъяснимого суеверного страха. Быть может, это оттого, что маленькие женские ноги стали непомерно большими? [...]

Дверь открылась и закрылась. Через минуту я слышу под окном хруст удаляющихся шагов. — Мирра, ты спишь? — спрашиваю я девочку.

— Сплю, — слышится вялый, медленный, тянувшийся ответ. И каждая из четырех букв этого короткого слова, с непомерным удлинением последнего гласного звука, начертывается для меня в холодном воздухе каким-то звуковым зацеплением. Мне начинает казаться, что мы где-то далеко на Севере, мы отправляемся к полюсу, нас затерло льдами, у нас цинга, нам не может помочь никто, мы забыты, и только метель подает свой голос, бросая комья и хлопья снега в заледеневшее окно, с его морозными узорами.

Я встаю. Я твердо знаю, что единственная возможность не погибнуть и не пригнуться до земли в беде — это решительное сопротивление. Несмотря на то, что в комнате несколько градусов ниже нуля, я снимаю с себя рубашку и моюсь с ног до головы. Я делаю это каждый день и только этим поддерживаю в себе бодрость и какое-нибудь жизнеспособие. Да и оставаться дольше в постели очень уж неуютно. Жители соседних комнат, наглые жильцы, самовольно поселившиеся в моей квартире, люди весьма вульгарные, подняли свой гуалл и как будто нарочно стараются быть тем более громкими, чем менее они имеют на это какие-нибудь логические основания.

«Мой дом», говорю я про себя не без горькой веселости. «Хотел бы я от кого-нибудь узнать, где мой дом и где мой — могли бы быть со мной, не как собаки, которых, за неимением иного, загнали нескольких в одну холодную собачью конуру, и вот они там повизгивают, не восхищенные идеальным морозным воздухом?»

А все-таки мороз красив. Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской³. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И, хотя мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах.

В тот день наше свидание было не совсем обычным. Проходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только что павшей лошади. Я наклонился над ней. Она была еще теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса, она перестала жить. Но кто-то уже успел отхватить от нее одну заднюю ногу, обеспечив себе на один сегодняшний обед. А в ожидании, что придут и другие люди, нуждающиеся в мясной пище, тощая собака с окровавленной мордой, пугливо озираясь и время от времени рыча, торопливо отгрызала от лошадиного тела кусок за куском.

Вороны каркали, перелетали и перескокком приближались к пирушке, но не решались приблизиться вплоть.

Эта злая примета прогнала мою веселость, и, когда я постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то бежит, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обеспокоенный, постучался опять.

— Сейчас, сейчас, — раздался веселый голос Марины. Дверь распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным лицом, тряхнула своими короткими волосами и со смехом сказала:



«Вот что, Бальмонтик, иди ко мне в гости нынче опасно. Посмотрите!»

В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частью, стеклянный потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные куски штукатурки. Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок зала, и тяжелые куски штукатурки от времени от времени еще продолжали падать.

— Я не боюсь, — сказал я. И, взявшись за руки, как дети, мы со смехом быстро пробежали ее комнату, под угрозою зиявшим обезображенным потолком зала. Головы наши остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны Судьбе. Может быть, нужны еще и сейчас, — хотя, что до меня, я мало это чувствую, не видя вообще решительно никакого смысла во всем, что совершается на Земле.

Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит: «Хотите?» При этом отрывает от старой газеты, лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает изготавливать то, что называется сигаркой или же козьей ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее и говорю: «Нет, сегодня не нужно. Я сегодня богат». Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.

Марина добрая и безрассудная. Она не хочет остаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет есть.

Марина живет одна с своей семилетней девочкой Алей⁴, которая видит ангелов, пишет мне письма, самые красивые из девичьих писем, какие я только получал когда-либо в жизни, и пишет стихи, совершенно изумительные. Припоминаю сейчас одно, которое могло бы быть отмечено среди лучших японских трюестрочий:

Корни сплелись,
Ветви сплелись.
Лес любви.

— Что нового, Марина?

— Да что же нового может случиться? Какие-то поляки у меня поселились. Очень вежливые. Говорят со мной по-французски и любезно сообщают, что у меня очень много интересных вещей в доме, которые, очевидно, мне не нужны. Добрые такие. Они освобождают дом от ненужных вещей. Сегодня унесли и продали стенные часы. Говорят — мешают спать своим боем. Деньги за них не то потеряли, не то проиграли в карты по дороге.

Марина — героическая женщина. Уже более двух лет ее муж, с самого начала присоединившийся к Корнилову, потерялся где-то там, за фронтом, и она не знает даже, жив он или убит⁵. Но спокойно благоговейно она верит, что он жив, и ждет его, как невеста ждет жениха. Ее сердце знало верно. Она дождалась свидания и соединилась с любимым⁶.

— А у вас что нового?

— Все то же. Помрут мои птицы.

— Уезжите, уезжите их. Уезжайте отсюда.

— Как же уедешь, Марина, из этого ада, который держит? И что я буду делать, что мы стали бы делать там, в чужом мире? Как ни плохо здесь, Россия — мой дом. Я не мыслю себя вне Москвы.

— Вы вернетесь потом. Нужно спасти их.

Мне хочется сказать: «Почему же вы сами не бежите и не ищите своего Сергея?». Но язык мой отказывается выговорить эти слова, и я начинаю бессвязно рассказывать Марине о павшей лошади, которую пожирают люди и собаки под карканье завидующих голодных ворон.

Я возвращаюсь домой. Аля идет со мною «Я хочу навестить Миррочку». [...]

Снежинки вьются и падают на ресницы. Але трудно смотреть. Ее маленькая ручка в моей руке. Она улыбается.

Вдруг она поднимает мою руку к своему лицу и прижимает ее к своим губам.

— Каждый раз, когда я вас вижу, — говорит она вполголоса, — я вижу высокого принца.

— Аля, — отвечаю я, — хотите выйти за меня замуж?

— Этого не может быть, — говорит она.

— Почему?

— Я слишком маленькая.

— А когда вы вырастаете?

— Этого не может быть, — настаивает она загадочно.

— Но почему же?

Она не хочет говорить.

— Потому что я буду тогда слишком старым?

Аля смотрит застенчиво и лукаво.

— Нет, вы, пожалуй, тогда не захотите.

Мы улыбаемся друг другу очень доверчиво и ласково. Снежинки совсем опушили нас, и дома кругом стали красивые и сказочные.

— И потом, — добавляет Аля с большой серьезностью, — вы слишком мало меня знаете. Вы не знаете, какая я в домашнем быту.

Но мы уже пришли в мой Николо-Песковский переулок⁷. Нас угостят сейчас теплой пшенной кашей и даже еще чем-то. Аля щебечет с Миррой, у них свой особенный язык и много-много маленьких важных тайн, больше, чем бывает цветов в саду и птичек в лесу.

Почему, когда столько ласки и нежности в душах человеческих, столько слепой ярости и безумного уродства в человеческих делах? [...]

Не хочу я сидеть дома. Каждый чужой дом лучше, если в душе неизбывная тоска. Я услышал с Мариной встретиться вечером на Тверской в кафе поэтов⁸. Но до этого слишком долго ждать.

Я помню, я ушел в тот вьюжный день к переводчице «Песни песней» Эфросе⁹. Мне нравилось, что он никогда не говорил тех бес полезных слов о неизбежном, которые так любят говорить русские. Я выносил из каждой беседы с ним освежение, душевный отдых. [...]

Эфрос напоил меня чаем. Не показывая, что он видит тоску, которая меня истязала, — «лучшее внимание — невнимание», гласит древняя китайская поговорка, — он заговорил мое тоскованье умными словами, такими, которые становятся почти нежными оттого, что они вовремя и у места умны. Он, кроме того, прочел мне свой новый перевод «Плача Иеремии»¹⁰, а прочтя, пропел это волшебное произведение по-древнееврейски.

Эта песня на красивом древнем языке, донесенная благоговейно через несказанно-трудные тысячелетия, эта песня — сказ души, эта песня — заговор и пророчество, сливаясь неуловимо с песней зимнего ветра в трубе, исцелила израненное сознание, и когда я шел по улице, простившись с гостеприимным хозяином, мое близкое и личное отошло от меня, но мне казался близким и живым ночной воздух белесоватой зимы, казались враждебными, но не страшными громады темных домов.

Вот тогда-то, идя по темной Бронной и видя, что свет над Тверской красноват, как зарево далекого пожара, я встретился с той, кого не знаю, как назвать и как определить.

На улице не было ни одного прохожего. Никого, кроме меня. Я шел и казался самому себе привидением, идущим по древнему погосту, где когда-то протекла, как широкая полноводная река, замкнутая в цветущие и высокие берега, целая богатая жизнь, с мыслями, красками, песнями, достижениями, дерзкими необманчивыми, улыбками близких, счастьем высоким и длительным, с верными, до сердца доходившими угаданьями. Протекла, истекла, разлилась, обмелела, иссякла, обнажила безводное дно, раскинула вправо и влево и повсюду песчаную равнину, безжизненное мертвое пространство. [...]

Вдруг, как из-под земли, как из воздуха, предстала предо мной эта странная женщина. Я не видел, чтобы она вышла откуда-нибудь, я с ней встретился лицом к лицу так сразу, как будто она стояла и ждала меня незримая, и стала видной, когда я подошел к ней вплоть.

— Дяденька, где мой дом? — спросила она меня, и я похолодел.

Она была одета, как крестьянка, которая собралась в дальний путь. На ней были валенки, длинный темный кафтан, похожий на монашеское одеяние. Голова была укутана в большой теплый платок, и я мгновенно вспомнил обмотки на зябнувших маленьких ногах, которые с хрустом ушли по снегу, и вспомнил, что некоторые убийцы укутывают в простыню голову убитого и что голова того, кому суждено быть повешенным, должна предварительно быть отъединенной от мира, скрытая слепым колпаком.

Я не знал, красиво или некрасиво это лицо, но я знал, что я не могу не смотреть на него и что оно молодое.

— Дяденька, где мой дом? — повторила она голосом, в котором была доверчивость и слышался упрек.

Она произносила все слова так мягко и неясвенно, как будто не все звуки она могла произносить; что-то младенческое было в этом говоре, точно это был ребенок, который еще не совсем овладел речью. И первое слово у нее выходило «дьянька».

Онемев от изумления и еще какого-то другого непонятного мне чувства, я невольно продолжал свой путь, а она, слегка потрагивая меня правой рукой и тотчас же ее отнимая, пошла совсем рядом и упорно повторяла свой вопрос.

— Я не знаю, — сказал я с беспричинным отчаянием.

— Ты знаешь, — сказала она, и в ее голосе была уверенность. — Ты знаешь, дяденька, он тут совсем близко. Покажи мне, где мой дом.

Ее лицо было странно, но совсем не безумно. И что было не странно в тот час и в том месте, в обезумленном жестоком городе, где кто-то кого-то убивал и кто-то кому-то улыбался, в этом белесоватом сумраке ночи, под измятым комком белой Луны?

Мы прошли мимо ряда домов. Никого кругом. Ищущая рука тихонько прикасалась к моей и убегала тотчас же. Мне казалось, что мы два лунатика и идем по закраине крыши высокого дома. Вот-вот мы сейчас сорвемся.

— Где мой дом? Где мой дом? — повторяла неведомая, и детская жалоба пробивалась через ее неясвенный говор, как через снег пробивается иногда слишком рано зазеленевшая былинка, которая через минуту замерзнет.

— Я не могу тебе помочь, — воскликнул я, охваченный тоской. — Я не знаю.

— Как тебе не стыдно, дяденька, — слышался упрекающий голос, и стыд и указание на пренебреженную ответственность были в этом женском голосе, вместе с совершенно детской доверчивостью.

И о чем-то сосредоточенно подумав, она добавила: «Ведь он не там, куда ты идешь».

Какой-то вихрь закрутился у меня в голове. К сердцу хлынула горячая волна, и мне стало жутко от того чудовищного желания, которое внезапно возникло во мне. Чудовищное ли? Не святое ли? Я не могу этого теперь определить. Около нас было много домов с открытыми воротами. Мне захотелось — неотступно — привести эту женщину на какой-нибудь двор, сесть с ней рядом на крыльцо и обнять ее. И обнять ее страстно. Самозабвенно.

В эту самую секунду из соседнего двора вышел какой-то человек. Было темно, и я не видел, кто бы это мог быть. Но знала ли она его или не знала, — только немедля, так же, как сразу она подошла ко мне вплоть, сразу, точно меня не было больше на свете, она, отвернувшись от меня, с доверчивостью подбежала к этому человеку и начала что-то быстро говорить ему. Ее говор, неясвенный, когда она говорила, идя рядом со мной, на расстоянии этих нескольких шагов стал для меня совершенно невнятным. Вышедший человек, показавшийся мне стариком, тихонько потрепал ее рукой по плечу, и они оба исчезли в темном дворе.

Я постоял с минуту. Я чего-то еще ждал. Все было тихо. Я пошел вперед.

Да, я пришел в кафе поэтов. Но, увидев меня, Марина всплеснула руками и воскликнула: «Братик, что с вами?»

Я рассказал ей подробно о встрече. Лицо Марины сделалось торжественным, а глаза ее стали как будто смотреть внутрь самих себя.

— Братик, — сказала она, беря меня за руку. — Она должна была к вам прийти. Должна. Ведь это же к вам приходила — Россия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дочь К. Бальмонта — Мирра.
2. Елена Константиновна Цветковская — гражданская жена К. Бальмонта.
3. Борисоглебский переулочек — ныне улица Писемского. Поварская — ныне улица Воровского.
4. Дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975) с детства отличалась незаурядным литературным даром.
5. Муж Цветаевой Сергей Яковлевич Эфрон (1893—1941) в гражданскую войну воевал в Белой армии, участвовал в «Ледяном походе» Корнилова. С 1918-го по июнь 1921 года Цветаева не имела о нем никаких сведений.
6. Цветаева встретилась с мужем в мае 1922 года в Берлине.
7. Николо-Песковский переулочек — ныне улица Вахтангова.
8. Кафе на углу Тверской и Настасьинского переулочка было организовано В. Каменским и В. Гольцшмидтом осенью 1917 года и пользовалось большой популярностью среди московских поэтов.
9. Абрам Маркович Эфрос (1888—1954) — переводчик, литературный и художественный критик. Его перевод «Песни песней Соломона» (1909) принес ему всероссийскую известность.
10. «Плач Иеремии» — один из текстов Писания (третья часть «Ветхого Завета»). Перевод не опубликован.

Публикация
Л. ПОЛИКОВСКОЙ,